РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)

РАССКАЗЫ

Ефим Гаммер родился в Оренбурге, на Урале, в 1945 году. Жил в Риге. Закончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. В Израиле с 1978 года. Автор 14 книг прозы и стихов. Лауреат ряда международных премий по литературе. В том числе Бунинской, Москва, 2008 год, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007 год, «Золотое перо Руси», Москва, 2005 год. Печатается в Израиле, России, США, Европе.

ПРИСКАЗКА

Рубль — это много. Две порции мороженого на палочке, да еще десять копеек сдачи. А при умелой игре в «чику», с везеньем за пазухой, можно блесткую эту копеечную монетку обернуть в новый рубль. А рубль... Что там говорить. Рубль и без адвокатов сам за себя ответ держит. Потому-то он на дороге и не валяется. Но под дудочку доброхотства вытанцовывает прямиком в карман.

О, как ловко импровизировали мы на этой таинственной дудочке! И не где-нибудь в закутке, а на самом завидном месте — на пустыре, прилаженном к нагретому, облизанному солнцем боку Главного Универмага с неприметными для стороннего глаза окошечками. Это были окошечки не простые, волшебные. Попросту их никогда не раскрывали, а обязательно со значением: чтобы масло «выбросить», муку или сахар. «Выбросить» все это добро внутри универмага никак нельзя было. Из-за очереди. Не вмещалась очередь в универмаг. Другое дело сбоку. Очередь в три обхвата облапит домину поперек туловища, подрагивает своим нервным, по-змеиному гибким хвостом и, пульсируя, сжимается, вдавливает выпирающие из стен камни обратно в стену, чтобы износу не было.

Мы за камни всегда были спокойны. Камни выдержат. А за людей иногда и побаивались.

И не то, чтобы побаивались из-за жалости к ним. Боже упаси! — какая может быть жалость, если денег даже на «чику» нет. Боялись совсем по другой причине. Люди — не камни. Люди происходят из другого материала. Повороти их спиной к стене, так у них нервы тут же справляют гулянку. Куда им до каменного спокойст-

вия, когда очередь к цели своей — раскрытому окошечку — подбирается, а в одни руки дают только кило того-этого, не больше. Вот если бы рук было не две, а четыре, шесть или восемь, тогда и кило того-этого увеличится до двух или трех. Простая арифметика, но без сметки с нею не совладать. Руки сами собой не вырастут. Их покупать надо. За наличные. По твердой таксе — пару рук за рубль.

У нас есть руки, но нет лишнего рубля. У очереди есть рубли, но нет лишних рук. И мы поэтому знаем, что рубли перекочуют из очереди в наши руки, а наши руки выгребут из окошечка кило того-этого для очереди.

Мы знаем это и не спешим. Мы играем в «чику», ставим копейки на кон, лупим биткой в медное их лицо, чтобы, отворотив лицо от ударов, переметнулись они на оборотную сторону. Копейкам наказание — нам выигрыш.

Играем мы в «чику». Азарт — под парами, а глазом косим на очередь — кто там первый на очередь к нам. И вот выдавливается старушенция, платочек в горошек, нос картошкой, платье до земли. Эта, ясное дело, начнет с гривенника и будет торговаться, как на базаре.

— Мальчики,— подкатывается к нам старушенция.— Подмогните.

— А чего тебе, бабка?

— Мне в очередь надо поставить вас, как своих внучат. Это мне зачтется при выдаче того-этого.

— Какая твоя цена, бабка?

— А какая цена? Не сочтите за труд, окажите услугу.

— Задаром — обращайся к боярам.

Жмется бабка. Деревенская она, не привыкла деньги транжирить.

— Я заплачу,— насилует себя старушенция.

— Сколько даешь?

— Рубь даю на круг, каждому много получится.

— Ха-ха, ищи кого подешевле.

И один из нас, самый сноровистый, присаживается на корточки и биткой по куче монет.

— Гляди, старая,— говорит нравоучительно.— Разом отоварился на двадцать копеек. В пять минут я тут рубль заколачиваю, а ты рубль на круг. Не пойдет у нас торговля.

Посрамлена старушенция, раздавлена. Куда ей с грошовым интересом против наших ставок. И топает потихонечку от нас назад, к очереди, и надежду свою худосочную вынашивает, как младенца. Ждет, что опомнимся мы, побежим за ней вслед, не дождется.

А от очереди к нам уже другая бабенция прется. При очках и шляпке, с капроном и лодочками. Эта не из деревенской будет сквалыги, из городской интеллигенции. Ее надо брать в оборот по-культурному, но с размахом. И вылавливаются из карманов браслетки и кольца, что родом с развалки. И оплетаются передние зубы золотой фольгой. И дымят самые дорогие папиросы в наших, червонного золота зубах. Не подступись без серьезных намерений!

И бабенция, еще до своего первого слова, осознает все наше величие. И сговаривается с нами уважительно, как на базаре интеллигент с интеллигентом.

— Сколько запросите, мальчики?

Догадывается, что вступлений не требуется. И без вступлений понятно, зачем она к нам пожаловала.

— По рублю на брата, меньше не берем.

— Хорошо,— соглашается бабенция.— Пойдемте в очередь.

— В очередь пойдем, когда очередь будет у окошка,— разъясняем ей ситуацию.

— Что вы, мальчики. Нельзя так! Продавщица мигом уличит нас в обмане.

— Не уличит. Мы ей деньги за это платим.

— А очередь?

— Очередь и не пикнет. Не в ее интересах против своих кормильцев встревать.

— Как же это?

— А так, что не только тебя мы обслуживаем.

— Пусть будет по-вашему. Только очередь мою не пропустите.

— Иди, иди, тетка. Очередь твою не пропустим. Не волнуйся. У нас глаз положен на твою очередь.

И пошла себе бабенция с тихой радостью в груди от свидания с интеллигентными ребятишками. Пошла себе в легких лодочках. Куда до таких лодочек разбитым мужским ботинкам, что как гири сидели на ногах деревенской старушки, мешали стремительно добежать до очереди. Как поравнялись с ней лодочки, старушенция повернулась вновь к нам, боясь, как бы из-за долгих раздумий не оказаться в проигрыше.

— Мальчики, три рубля на круг.

Повысила цену за наши услуги, а сама мелко губами дрожит: как бы не прогадать. Прогадала, старушенция, прогадала. Прет к нам уже бугай, из тех, кому мешок того-этого нужен. Этот на старушенцию ноль внимания, фунт презрения. И мы тоже. Да что мы, если сами деньги особый взгляд имеют. Всмотритесь, какой взгляд у Ленина на сторублевке. И сравните этот его взгляд с тем, что на четверть менее гордый на двадцатипятке. То-то и оно! Если сами деньги по-разному смотрят, то как должны люди смотреть на деньги? С разбором. Так и мы, мы ведь тоже люди, даром что пацаны — без разбора не можем, иначе в трубу вылетим из детства. Кто же тогда за нас доживет до старости?

Подваливает, значит, к нам бугай. И говорит:

— Закупаю всю вашу камарилью.

— Почем платишь?

— Об уплате разговора нет. Каждому по два рубля в зубы и айда со мной.

— Прибавь по рублю. И мы берем на себя доставку товара по назначению.

— Идет,— кивает бугай.

Старушенция тут не выдерживает.

— Мальчики, поимейте совесть. Я первая на очереди была.

— Отвались, старушка,— лыбится бугай.— Мальчики быка уже завалить женилкою могут. А ты им — «мальчики».

— Мальчики,— травит свое старушенция.— Я по рублю.

— Во Чапай! — радуется жизни бугай.— Порублю! Да что, они, Деникины дети, чтоб им «порублю». Ты им полста отвали, чтобы не на семечки, на бутылку хватило. С закусом.

— Мальчики,— опять за свое старушенция, и слезы у нее с глаз на землистое лицо выворачивают, как бусинки с нашей развалки.

— Ладно, бабка. Рубль не цена. Но что с тебя взять, кроме смерти. Иди в очередь, будешь у нас на заметке.

Вот и все!

Были мы мужички-топотуны.

Шли по жизни, твердо ставя ногу.

ЗАТМЕНИЕ

Я рос на Аудею, 10. В старой Риге, рядом с развалкой. Развалкой мы называли бывший ювелирный магазин, разбомбленный во время войны. Чья бомба — немецкая или русская — упала на этот магазин, мы не знали. Впрочем, над этим никто не

ломал голову. Потому что бомба соорудила нам площадку для игр. Да что там, для игр! Для нашего детства! А без детства и вся остальная жизнь лишается первородного смысла.

Развалка стояла на пустыре. Между Центральным Универмагом — мы его называли «Асопторгом» — и нашим, тогда огромным, пятиэтажным домом со скошенной, в стеклянных квадратиках крышей.

Я еще не ходил в школу, но уже ходил в Центральный Универмаг. За покупками, разумеется, если не ради желания позырить на завезенные по случаю спиннинги или модняцкие часы «Заря» в золотом корпусе.

Меня выгодно было посылать за покупками — в «очередь». Я сноровисто оборачивался туда-сюда. И сдачу приносил до копейки.

Сноровисто оборачивался из-за того, что никогда не стоял в той самой «очереди», в которую меня посылали.

В очередь я втирался незаметно, исподтишка. Сначала худеньким плечиком, а затем всем своим невесомым тельцем. Кто уследит за моими маневрами, когда я по пояс взрослому человеку? Разве что специально приставленный ко мне стукач. Но таких не находилось. И я успевал обернуться туда-сюда за какие-нибудь десять минут, умудряясь, если и пропустить, то всего одну партию в «чику».

Но однажды случилась со мной незавидная история. Оттого достопамятная, что был я обманут впервые, обманут жестоко, обманут до неведомого прежде желания отомстить.

Я возвращался домой почти что порожняком, без сахара и молока, только с буханкой хлеба. Хлеб был свежеиспеченный. Он пах притягательно, я бы сказал теперь — упоительно, пах, как может пахнуть хлеб лишь в те редкие мгновения, когда его не волокут со склада на склад, а везут прямиком из пекарни в магазин, чтобы... Само собой, чтобы разбойные мальчишки-землетопы, вроде меня, надышались у прилавка его дурманного аромата и, позабыв о прочих покупках, мчались домой с батоном под мышкой. Там, дома оставалось погрузить нож в пышущую здоровьем хлебную утробу, просыпать хрусткую кожицу на кухонный стол и с горбушкой в зубах танцевать на крашеных половицах танец любви ко всему миру и наслаждения от земных плодов.

Но не пришлось мне в тот раз плясать от пахучей радости.

На полпути к дому, на пустыре, притертом к развалке, обнаружил я постороннюю личность — старше по возрасту мальчишку лет двенадцати, родом не из нашего двора, где все были в тот момент семилетними, образца 1945 года.

Босой, но в тельнике и клешах, он походил на восклицательный знак, перевернутый узкой своей частью вниз. Было на чем держаться впечатляющей головке-точке, махонькой, стриженной под нулевку, с помятым в драке носом-картошкой. Он стоял там, где не имел права стоять — на нашей территории, подле моего дома на Аудею, 10. И — странное дело! — коптил спичками стеклышко, повертывая его и так и сяк.

Зачем он коптил стеклышко, я приблизительно догадывался. Но вот почему он коптил стеклышко на нашей территории, принадлежащей мне и моим друзьям, образца 1945 года, этого я не понимал. Солнечное затмение, обещанное по радио, он мог увидеть и в другом месте, где-нибудь подальше, хоть у черта на куличках. Но «где-нибудь» и «подальше» его явно не устраивало. Все просто. Но куда как непросто прогнать его, если его плечо выше моей макушки. Однако, куда деваться? Выхода нет. Надо его прогонять! Иначе он и подобные ему охламоны поймут — территория не охраняется, и повадятся шастать сюда, грабить нашу развалку, хранительницу скрытых от чужого глаза сокровищ — янтарных бус, крошечного бисера, всякого рода колечек, и прочих мелких вещиц, пригодных для рогатки и торга с тетками-мороженицами и билетершами кинокасс. Все это добро мы выгребали из недр развалки, расчищая щепочкой землю в самых ее потайных прибежищах.

Душу мою промывало сквозняком. В пятки капало масло. Но я все же понес ноги к чужому мальчишке.

— Кто ты такой, что стоишь здесь, когда надо пройти мимо? — сказал я заготовленными заранее словами.

— Кто я такой? — переспросил он, снизойдя до меня взглядом с кислинкой. И усмехнулся:

— Это на моей морде написано.

И впрямь, на морде было написано все, в особенности на помятом кулаком носу.

— А почему стою здесь? — продолжал наглый захватчик нашей территории.— Это не твоего ума дело. Но все же скажу, по секрету.

Он повертел перед собой закопченное стеклышко, сдунул с него какие-то невидимые пылинки.

— Я,— он ткнул себя зачернелым пальцем,— всю жизнь коптил солнце. Теперь копчу стеклышко. Зачем? А затем, избушка на курьих ножках, чтобы через это закопченное стеклышко посмотреть на то, как закоптил солнце.

— Дурью ты маешься! — вразумительно сказал я.

— Дурью маешься ты! — вспыхнул он и погас.— Нет, чтобы попросить у меня стеклышко, пристаешь, как приблудный пес. Лаешь, но не кусаешься.

— Укуси такого!

— И не пробуй! А то стеклышка ни в жизнь тебе не видать!

— На что мне твое стеклышко?

— Чтобы смотреть на солнце.

— На солнце можно смотреть только через два часа, когда будет затмение,— повторил я, что слышал по радио.

— А иначе нельзя? — скрипуче засмеялся мальчишка, гася в пальцах спичку.

— Иначе — ослепнешь!

— Ну и дурья у тебя голова, одуванчик природы. На солнце надо смотреть при солнце, а не при затмении.

— Чтобы ослепнуть?

— Слепнут только дураки и сучьи выродки.

— А ты — что? Не из них будешь случаем?

— Я буду из тех, кто не ждет затмения солнца. А сам своими руками наводит на солнце затмение.

— Ну, даешь!

— Погляди,— он протянул мне чумазое стеклышко.

Я взял стеклышко, зажмурил левый глаз и уставился на солнце. Но ничего приятного не приметил. За стеклышком таилась густая темень, и ничего более.

— Глупое твое стеклышко,— сказал я мальчишке.— Ничего в нем не видать.

— Не стеклышко глупое, а ты.

— Почему?

— Потому что — потому! Когда держишься одной рукой за хлеб, а второй за стеклышко, никакого волшебства не будет. За такое стеклышко надо держаться двумя руками, чтобы при полном солнце увидеть затмение.

— Ну да?

— Вот тебе и «да»! Проверь и поймешь — правду говорю.

— А хлеб куда девать?

— Дай, подержу, чтобы не украли.

— Ага, доверься такому...

— Как знаешь, одуванчик природы. Дурак на то и дурак, что всю жизнь дурак, даже, если на солнце глядит и не слепнет.

— Сам дурак! — вернул я горькую пилюлю обидчику. И чтобы не воспринимать

себя дураком, отдал ему «подержать» буханку хлеба. А сам воткнулся в стеклышко: слишком велик был соблазн увидеть сегодня затмение дважды — в срок, предписанный законом, и раньше, по собственному желанию. Пацан оказался прав — стеклышко подарило мне всамделишнее затмение. Действительно, чудо! Какое-то стеклышко-черныш, и на тебе, солнце, на которое и глаз не поднимешь среди бела дня, лежит себе послушно, как вода в проруби, подергивается ледком по краям, копошится в мелкой рыбешке брызг. Да полно! Солнце ли оно настоящее? Или это кусок расплавляемого на огне свинца, годного лишь для битки, для игры в «чику»? И я отвел стеклышко чуть-чуть в сторону, чтобы проверить сомнения. Отвел всего на секунду. И ослеп самым натуральным образом. Мстительным, понял я, было солнце. Мстило мне за неверие.

Незряче я повернулся к мальчишке с помятым носом.

— Что это было? Почему так? Ни солнца, ни света.

Он, будто воды в рот набрал. Молчит.

— Эй, тельняшка! Скажи... Что молчишь?

Молчит. Единственный мой толкователь солнечных затмений, и тот молчит. Будто и на него затмение нашло.

Мое же «затмение» потекло копотью, вылилось в радужную арку, затем рассеялось. И что же? Ни мальчишки. Ни хлеба. То ли он смотал удочки, то ли солнце его поглотило за насмешки да пустые разговоры. Но если солнце, то почему вместе с хлебом моим? Почему вместе с моей румяной корочкой? Той самой, что задаст мне азарта на дикий танец любви ко всему миру. Нет горбушки моей. Значит, и не быть танцу.

Кто меня обманул? Мальчишка или солнце?

Я не мог в тот день отомстить мальчишке. Где его искать? В тот день я мог отомстить только солнцу. И я отомстил ему.

В час полного затмения, когда вся Рига 1952 года жила праздником полдневной тьмы и радовалась впервые увиденным пятнам на недоступном человеческому взору солнце, я даже не вышел во двор. Я лежал на кровати, укрывшись с головой одеялом. И был доволен, что мщу солнцу...

Сергей Гора
(г. Линкольн, Калифорния, США)

БОЛЕЗНЬ О ПРОШЛОМ

Сергей Гора. Родился в г. Ленинграде. Окончил ЛГУ. Филолог-лингвист. Переехал в США как приглашенный специалист. Один из первых постсоветских менеджеров транснациональных корпораций; один из первых постсоветских ведущих телевизионных ток-шоу; был известен в России и как переводчик медицинских журналов. Имеет ученую степень из Санкт-Петербургского университета, подтвержденную правительством США. Выпустил ряд поэтических сборников, получивших хорошие отзывы читателей, отмечавших способность автора подметить и бесстрастно осветить мельчайшие детали окружающих событий и явлений.

Как контрастно устроен порядок земной:
Ты здоров — и вокруг все в порядке.
Но когда в изможденьи томишься больной,
Сразу — будто весь мир в лихорадке...
А бывает еще, что прорвав, как нарыв,
Над душою нависшее бремя,
Замечаешь, глаза облегченно открыв,
Что тебе открывается время...

...Золотая Москва. Петербург, как король...
Величавы столичные башни.
...А в Деканьке веселье: для гостя хлеб-соль.
Там д«ы»вчина с батьком крутит шашни.
Мариинский балет... И над Волгой мосты...
У часовни склонившийся инок...
И в лазоревом небе колышет кресты
Легкий бриз тополиных пушинок...

...Сколько можно носиться с седой стариной? —
Толку что(?) от эпитетов пышных!
Я, конечно, могу промолчать, но за мной —
Шестьдесят миллионов погибших.
И когда начинаю от споров скучать,
Безнадежность попыток увидев,
Словно судьи выносят вердикт: «не молчать»
Эти жертвы, из прошлого выйдя.

...Посмотри в небеса: верст на «тыщу» окрест
Розы, снег, золотистые клены.
Звездным шествием строй белокурых невест —
Миллионов, невинно казненных.
Разгорается жар,— знать, опять не везет:
В небесах отменили венчанье.
Снова чувствую вверх неуклонно ползет
По термометру градус отча«*й*»нья...

...А поодаль, как ангельский сонм в облаках,
Юнкеров, офицеров колонны:
Блеск отваги в глазах и хоругви в руках,
А на сердце — предсмертные стоны.
К сорока подползла на термометре боль.
Я спешу вызвать скорую срочно:
...Золотая Москва... Петербург, как король...
И луна над украинской ночью...

...Расцветает страна. Над державой — заря.
Всюду дивы, таланты, умельцы.
Но на ярмарках клоуны метят в царя:
Мол, он выпить не прочь,— в точь, как Ельцин...
Бог Россию хранит, Бог Россию спасет,—
Хоть вовсю соловьем разливайся.
Вижу: рыжий народник взрывчатку несет:
До чего ж он похож на Чубайса...

Вот, с балкона картавый апрельскую гнусь
Лепит в уши зевак бестолковых.
Не-е... Довольно о прошлом! Обратно вернусь,
Сбросив сжавшие горло оковы:
Сяду в первый трамвай, что на Троицкий мост
От Дворянской звенит, как дождинки.

...«Оберните в тепло уши, горло и нос»,—
Слышу голос больничной блондинки.
...Медсестра. Белый зал. Рядом тумбочка и
За окном раздобревшие тучи.
«Вы оставьте о прошлом волненья свои,
Чтоб наутро почувствовать лучше»...